Южный почтовый

Автор:
Антуан Сент-Экзюпери

Южный почтовый

Антуан де Сент-Экзюпери

«…Небо, чистое, как вода, вымыло и высветило звезды. Потом настала ночь. Сахара, дюна за дюной, разворачивалась под луной. Нам светит эта лампа, ее отраженный свет не выхватывает предметы, но творит их, насыщая каждый каким-то мягким веществом. Под нашими приглушенными шагами – роскошный плотный песок. И мы идем с непокрытой головой, отдыхая от солнечного пекла. Ночь: этот кров…»

Антуан де Сент-Экзюпери

Южный почтовый

© Баранович М., перевод на русский язык. Наследник, 2019

* * *

Часть первая

I

Радиограмма. 6.10. Тулуза. Всем аэродромам: почтовый Франция – Южная Америка вылетает Тулузы 5.45. Точка.

Небо, чистое, как вода, вымыло и высветило звезды. Потом настала ночь. Сахара, дюна за дюной, разворачивалась под луной. Нам светит эта лампа, ее отраженный свет не выхватывает предметы, но творит их, насыщая каждый каким-то мягким веществом. Под нашими приглушенными шагами – роскошный плотный песок. И мы идем с непокрытой головой, отдыхая от солнечного пекла. Ночь: этот кров…

Но как нам было поверить в покой? Пассаты без устали мчались к югу. Они подметали шуршащий, как шелк, пляж. Это были уже не европейские ветры, которые покрутятся-покрутятся и утихнут; нет, они проносились над нами, как над экспрессом на полном ходу. Иной раз их прикосновение было так жестко, что казалось, повернувшись на север, на них можно опереться и тебя поднимет и унесет к неведомой цели. Какая скорость, какое смятение!

Солнце завершало свой круговорот, и снова наступал день. Мавры вели себя мирно. Те, что отваживались приблизиться к испанскому форту, изъяснялись жестами и, как дети, играли ружьями. Это была закулисная Сахара: здесь непокорные племена утрачивали таинственность и выступали лишь в роли статистов.

Мы жили с ними бок о бок, и они казались нам нашим собственным, самым будничным отражением. Вот почему мы не чувствовали себя затерянными в пустыне; нам нужно было бы вернуться домой, чтобы почувствовать одиночество, посмотрев на него со стороны.

Мы были в плену у мавров и у самих себя. Мы не могли отойти от форта дальше, чем на пятьсот метров, за которыми начиналась непокоренная страна. Наши ближайшие соседи – в Сиснеросе, в Порт-Этьене – в семистах, в тысяче километрах от нас, были, как и мы, словно руда пустой породой, окружены Сахарой. И они вращались по своей орбите вокруг такого же форта. Мы знали их по именам, по их чудачествам, но между нами простиралось непроницаемое молчание, как между обитаемыми планетами.

Сегодня утром мир для нас пришел в движение. Радист вручил нам наконец радиограмму: две мачты, врытые в песок, раз в неделю связывали нас с миром.

Почтовый Франция – Америка вылетел Тулузы 5.45. Точка. Прошел Аликанте 11.10.

Это говорила Тулуза. Тулуза – головная точка линии. Далекий бог.

За десять минут новость доходила до нас через Барселону, через Касабланку, через Агадир и потом распространялась дальше на юг до Дакара. На линии в пять тысяч километров все аэропорты были подняты на ноги. С возобновлением передач около шести часов вечера нам снова сообщалось:

Почтовый приземлится Агадире 21.00. Вылетит Кап-Джуби 21.30. Подсветка ракетой Мишлена. Точка. Кап-Джуби приготовить обычные сигнальные огни. Точка. Держать связь Агадиром. Подпись: Тулуза.

Из обсерватории Кап-Джуби, затерянной в сердце Сахары, мы следили за далекой кометой.

К шести часам вечера забеспокоился юг:

Из Дакара Порт-Этьену, Сиснеросу, Джуби: срочно сообщите сведения почтовом.

Из Джуби Сиснеросу, Порт-Этьену, Дакару: никаких сведений после прохождения Аликанте 11.10.

Где-то гудел мотор. Его гул старались уловить от Тулузы до Сенегала.

II

Тулуза. 5.30.

Самолет резко тормозит в воротах ангара, распахнутых в ночь и в дождь. Прожекторы по пятьсот ватт вырывают из темноты предметы, жесткие, обнаженные, с резкими контурами, как на витрине. Под сводом ангара каждое произносимое слово резонирует, продолжает звучать, наполняет собой тишину.

Блестящие покрышки, моторы без единого масляного пятна. Самолет как новенький. Сложнейший часовой механизм, к которому только что пальцами изобретателей прикасались механики. Теперь они, сделав свое дело, отходят в сторону.

– Живее, господа, живее…

Мешок за мешком почта исчезает в чреве машины. Быстрая проверка:

– Буэнос-Айрес… Натал… Дакар… Касабланка… Дакар… Тридцать девять мешков. Точно?

– Точно.

Пилот одевается. Свитер, шарф, кожаный комбинезон, меховые сапоги. Сонное тело еле ворочается. Его подгоняют: «Давай! Скорее…» Тяжелый и неуклюжий, он втискивается в кабину, не гнущиеся в толстых перчатках пальцы едва удерживают часы, высотомер, планшет с картами. Водолаз вне своей стихии. Но едва он садится за штурвал, все становится легко.

К нему поднимается механик.

– Шестьсот тридцать кило.

– Пассажиры?

– Трое!

Не глядя, он берет их под свою опеку.

Начальник аэродрома поворачивается к рабочим:

– Кто закреплял капот?

– Я.

– Двадцать франков штрафу.

Начальник аэродрома в последний раз проверяет готовность машины: всё в образцовом порядке, все движения рассчитаны заранее, как в балете. Самолет, стоящий сейчас в полной готовности в ангаре, через пять минут будет в небе. Этот рейс вычислен так же точно, как спуск на воду корабля. Недостает крепежного винтика – ужасающий недочет. Прожекторы по пятьсот ватт, тщательность, придирчивость осмотра – все это для того, чтобы полет от аэродрома до аэродрома в Буэнос-Айресе или в Сантьяго был результатом законов аэродинамики, а не делом случая. Чтобы, несмотря на бури, туманы, торнадо, несмотря на множество ловушек, которые таятся в клапанах, в распределителях, – во всей этой косной материи, – догнать, перегнать и оставить далеко позади товарные, скорые, экспрессы, пароходы! И в рекордное время приземлиться в Буэнос-Айресе или в Сантьяго…

– На вылет!

Летчику Бернису вручают бумагу: план битвы.

Бернис читает:

«Перпиньян передает: небо ясное, ветра нет. Барселона: буря. Аликанте…»

Тулуза. 5.45.

Мощные колеса давят на тормозные колодки. Под ветром, поднимаемым винтом, трава на двадцать метров за самолетом стелется и струится, как вода за кормой. Бернис одним движением кисти дает волю буре или усмиряет ее.

Теперь гул нарастает повторными волнами и становится той насыщенной, почти твердой средой, в которой оказывается замкнутым тело самолета. И когда пилот чувствует, что этот гул, переполняя его, позволяет овладеть стихией, которая до сих пор ему не подчинялась, он говорит себе: есть! Потом он смотрит на черный, задранный в небо, как гаубица, капот. За винтом брезжит рассвет.

И тогда, медленно выруливая против ветра, летчик дает полный газ. Самолет, подстегнутый винтом, срывается с места. Первые скачки по упругому воздуху сглаживаются, и тогда кажется, что земля растягивается и блестит под колесами, как приводной ремень. Воздух, сначала неосязаемый, потом текучий, теперь становится твердым, и, опираясь на него, пилот взмывает вверх.

Деревья, окаймляющие аэродром, расступаются, открывая горизонт, и исчезают. С высоты двухсот метров еще видишь детские игрушки – стоящие торчком деревца, раскрашенные домики и леса, похожие на густой мех: обитаемая земля…

Бернис ищет наиболее удобный наклон спины, точное положение локтя, он спокойно располагается в кабине. Позади него – низкие тучи над Тулузой, словно темные своды вокзала. Теперь он уже все меньше и меньше сопротивляется рвущемуся вверх самолету, он понемногу высвобождает силу, которую сдерживал в кулаке. Каждым движением кисти он выпускает волну, и она, как прилив, приподнимает и подхватывает его самого.

Через пять часов – Аликанте, а вечером – Африка. Бернис задумался. Он спокоен: «Все в порядке». Вчера с вечерним экспрессом он оставил Париж: какой странный отпуск. От него осталась лишь смутная память о каком-то непонятном смятении. Тревога придет потом, сейчас он отбрасывает назад это прошлое, как будто оно продолжает жить где-то вне его. Сейчас ему кажется, что он заново рождается с новым светающим днем, что он – ранняя птица – помогает созданию этого нового дня. Он думает: «Сейчас я только рабочий. И я налаживаю почтовую связь с Африкой». А для рабочего, начинающего строить мир, этот мир каждый день рождается заново.

«Все в порядке…» Последний вечер в парижской квартире. Сложенные кипами газеты и стопки книг. Сожженные письма, связки разобранных писем, сдвинутая мебель. Каждая вещь оторвана, извлечена из жизни и выброшена в пространство. И это смятение сердца, не имеющее уже никакого смысла.

Он приготовился к завтрашнему дню, словно к дальнему плаванию. Он, как в Новый Свет, отчаливал в следующий день. Столько незавершенных дел еще привязывало его к самому себе. И вот внезапно он оказался свободен. Бернису даже страшно сознавать себя таким безоружным, таким обреченным.

Под ним уплывает Каркассон – пристанище на случай вынужденной посадки.

До чего хорошо прибран мир, когда глядишь на него с высоты трех тысяч метров. Все уложено по местам, как в ящике с игрушками. Дома, каналы, дороги – игрушки взрослых людей. Благополучный, разграфленный на квадратики мир: каждое поле окаймлено забором, каждый парк окружен стеной. Вон Каркассон, где каждая лавочница живет жизнью своей прабабки. Нетребовательное, ограниченное счастье. Человеческие игрушки, в порядке расставленные в витрине.

Мир под стеклом, выставленный и разложенный как напоказ, аккуратные городки на развернутом рулоне карты, которую неотвратимо, словно прилив, несет на него медленно движущаяся земля.

Вот он один. Циферблат высотомера отражает солнце. Яркое и негреющее. Движение педали, и ландшафт уплывает. Этот свет – мертвый, эта земля – кажется мертвой: все, что составляет сладость, аромат и хрупкость живых вещей, – уничтожено.

И все-таки под кожаной курткой – твое теплое и смертное тело, Бернис! Под плотной кожей перчаток – чудесные руки, умевшие так нежно ласкать твое лицо, Женевьева…

Испания.

III

Сегодня, Жак Бернис, ты с уверенностью хозяина пересечешь Испанию. Перед тобой одна за другой встанут знакомые картины. Ты с легкостью пробьешься среди грозовых туч. Барселона, Валенсия, Гибралтар – их несет на тебя и отбрасывает назад. Хорошо. Ты скатаешь в рулон свою карту, и отработанное пространство сгрудится позади тебя. Но я вспоминаю о твоих первых шагах, о

моих наставлениях накануне твоего первого почтового рейса. На рассвете тебе предстояло взять в руки мысли целого народа. В свои неумелые руки. И перенести их, как сокровище под плащом, через тысячи препятствий. Почта, сказали тебе, это драгоценность, она дороже жизни. И она так хрупка. Малейшая неосторожность, и пламя испепелит и развеет ее по ветру. Я помню канун твоего боевого крещения.

– Ну а что тогда?

– Тогда ты постараешься долететь до пляжа Пенисколы. Но берегись рыбачьих баркасов.

– А потом?

– Потом до Валенсии ты всегда найдешь удобную аварийную площадку: я обведу их красным карандашом. В крайнем случае садись в высохшие русла.

Сидя перед развернутыми картами, под зеленым абажуром нашей лампы, Бернис снова чувствовал себя школьником. Но его теперешний учитель открывал ему живую тайну каждого клочка земли. Неведомые страны уже не были мертвыми цифрами, – это были настоящие луга в цветах, где надо опасаться вон того дерева, это были настоящие песчаные пляжи, где в сумерках надо избегать рыбачьих баркасов.

Ты уже понимал, Жак Бернис, что мы никогда не узнаем ни Гренады, ни Альмерии, ни Альгамбры, ни мечетей, но мы познакомимся с ручейками, с апельсиновым деревом, с их самыми скромными признаниями.

– Так слушай: если погода хорошая, иди напрямик. А в дурную погоду, при низкой облачности, бери влево и углубляйся в эту долину.

– Я углублюсь в эту долину.

– А потом выходи к морю через это ущелье.

– Я выйду к морю через ущелье.

– Не давай воли мотору: здесь острые утесы и скалы.

– А если он забарахлит?

– Выкарабкаешься!

И Бернис улыбался: молодые пилоты – романтики. Налетит какая-нибудь скала, точно камень из пращи, и поразит насмерть. Бежит ребенок, но чья-то рука ударяет его по лбу и опрокидывает…

– Да нет же, старина, нет! Человек всегда выкарабкается.

Бернис был горд такой наукой: в детстве он не смог выудить из «Энеиды» ни одного секрета, который уберег бы его от смерти. И учитель, проводивший пальцем по карте Испании, не был человеком, который умеет чуять и находить подземные ключи: палец учителя не обнаруживал ни клада, ни западни, ни той пастушки на лугу.

Какую ласку излучал сегодня этот заправленный маслом светильник! Такой струйкой масла можно успокоить морское волнение. На дворе завывал ветер. Наша комната и в самом деле была островком в необъятной вселенной, вроде харчевни моряков.

– Стаканчик портвейна?

– С удовольствием…

Комната пилота – какое ненадежное убежище, как часто приходилось сооружать тебя заново! Накануне вечером дирекция оповещала нас: «Пилот X. назначается в Сенегал… в Америку…» И вот приходилось в ту же ночь рвать все связи, заколачивать ящики, лишать комнату всех признаков собственного присутствия – фотографий, книг – и бросать ее такой безликой, словно в ней не обитал даже призрак. Иной раз приходилось в ту же ночь разомкнуть объятия двух рук и, истощив силы какой-нибудь девчонки, не уговорами, – потому что ни одну не уговоришь, – но утомив ласками, к трем часам утра тихонько погрузить ее в сон, покорную не разлуке, а горю, и сказать себе: «Ну вот она и смирилась, она плачет…»

Чему же ты научился потом, Жак Бернис, в своих скитаниях по свету? Самолету? В самолете движешься так медленно, будто просверливая дыру в кристалле. Особенности каждого города мало-помалу стираются: надо приземлиться, чтобы оценить его своеобразие. Теперь ты знаешь, что все эти богатства исчезают прежде, чем ты успеешь к ним прикоснуться. Время смывает их, как морской прибой. Что же за человек рождался в тебе по возвращении из первых рейсов, и почему тебя охватывало желание поставить его рядом с призраком того нежного мальчугана? В первый же свой отпуск ты уговорил меня навестить наш коллеж: и вот в Сахаре, где я жду твоего самолета, Бернис, я с грустью вспоминаю об этом посещении нашего детства.

Белая вилла среди сосен, сначала в одном, потом в другом окне загорался свет. Ты говорил мне:

– Вон класс, где мы писали наши первые стихи…

Мы вернулись издалека. Мы запахивали в наши тяжелые плащи всю вселенную, а в глубинах нашего существа бились неуемные сердца путешественников. В плотных перчатках, в прочной броне, стиснув зубы, мы вступали в неведомые города. Навстречу, не задевая нас, проносились человеческие толпы. Для прирученных городов у нас были в запасе белые фланелевые брюки и теннисные рубашки. Для Касабланки, для Дакара. В Танжере мы ходили с непокрытыми головами: в этом сонном городе не было нужды в доспехах.

И вот мы зрелыми мужами вернулись в коллеж. Мы боролись, страдали, перелетали над бескрайними землями, любили женщин, иной раз играли в орла и решку со смертью, и все это мы делали только ради того, чтобы избавиться от страха, так угнетавшего нас в детстве, – страха перед штрафным заданием или перед отсидкой лишний час в классе; всего лишь ради того, чтобы субботним вечером безбоязненно выслушать чтение отметок за неделю.

Вот в вестибюле послышался шепот, потом возгласы, потом, наконец, поднялась старческая суетня. Наши учителя выходили нам навстречу в золотом свете ламп, с пергаментными лицами, но с такими светлыми глазами: оживленными, приветливыми. И мы тотчас же поняли: им ясно, что мы уже из иного мира. Таков был обычай: «старички» являлись в школу уверенно и безбоязненно, беря реванш за все детские страхи.

Их не удивляло ни мое энергичное рукопожатие, ни прямой взгляд Жака Берниса; они сразу стали обращаться с нами как с мужчинами; они побежали за бутылочкой старого самосского, о котором раньше не смели бы и заикнуться.

Мы расселись за вечерней трапезой. Они жались друг к дружке под абажуром, как крестьяне вокруг камелька, и мы поняли, что они слабы.

Они были слабы, потому что стали снисходительны, и наша детская леность, которая неминуемо должна была ввергнуть нас в порок, в беду, превратилась вдруг в их глазах всего лишь в ребяческое баловство, – оно вызывало у них только улыбку; потому что наше тщеславие, которое они так рьяно подавляли, сегодня вечером считалось похвальным, чуть ли не благородным. Мы даже удостоились признания нашего учителя философии.

Декарт, пожалуй, построил всю свою систему на логической ошибке. Паскаль… Паскаль был безжалостен. А сам наш учитель философии состарился, так и не разрешив, несмотря на все старания, извечной проблемы свободы воли. И вот он, всячески предостерегавший нас от детерминизма, от Тэна, считавший Ницше опаснейшим врагом выпускников коллежа, теперь винился перед нами в своей преступной слабости к Ницше. Он волновал и его. А реальность материи?.. Он ничего толком не знал, он колебался… И вот учителя стали расспрашивать нас. Мы ведь вышли из этой теплицы на бурные просторы жизни, и мы должны были рассказать им о том, какая же погода на земле. И правда ли, что мужчина, любящий женщину, становится ее рабом, как Пирр, или ее палачом, как Нерон? Правда ли, что Африка с ее пустынями и синим небом такая, какой ее рисовал учитель географии? И закрывают ли страусы глаза, чтобы спастись от опасности? Жак Бернис чуть опускал голову, потому что он владел великими тайнами, но учителя выпытали эти тайны.

Они захотели узнать от него об опьянении борьбой, и о реве мотора, и о том, что для счастья нам уже недостаточно, как им, подреза?ть по вечерам розы. Теперь настала его очередь толковать им Лукреция и Екклезиаста и давать советы. Бернис, пока не поздно, учил их, сколько нужно запасти провизии и воды, чтобы не погибнуть в случае вынужденной посадки в пустыне. Второпях он забрасывал их последними советами: как летчику спастись от мавров, как уберечься от огня. И вот они покачивали головами, еще встревоженные, но уже понемногу обретая уверенность и гордость, потому что именно они поставили на ноги это новое поколение. Наконец-то они прикасались руками к героям, которых издавна чтили; увидев их воочию, они могли теперь спокойно умереть. И они заговорили

о Юлии Цезаре – ребенке.

Но, рискуя их опечалить, мы рассказали о разочарованиях и горечи вынужденного бездействия после тщетной борьбы. И пока самый старый учитель дремал, мы поделились с ними очень грустным открытием, что последние истины существуют, может быть, только в книгах. Впрочем, учителя и без нас уже знали об этом. Они пришли к такому жестокому выводу на собственном опыте: они ведь преподавали людям историю.

– Что занесло вас в наши края?

Бернис ничего не ответил, но старые учителя были знатоками человеческих душ, и, переглянувшись, они задумались о любви…

IV

Земля с такой высоты казалась голой и мертвой; но вот самолет теряет высоту, и она одевается. Снова ее покрывают леса, долины; ее холмистая поверхность – словно застывшая морская зыбь; земля дышит. Гора, над которой летит Бернис, – грудь спящего великана, и она вздымается, чуть не задевая самолет.

Теперь земля совсем близко, и смена ландшафтов ускоряется, как поток, на который смотришь с моста. Связанный воедино мир разваливается. Леса, дома, деревни отрываются от гладкого горизонта и относятся назад.

Вот показывается аэродром Аликанте, покачивается, устанавливается; вот колеса касаются земли, она затягивает их, как прокатный стан, заостряет.

Бернис с трудом вылезает из кабины – ноги затекли. На мгновение он зажмуривается; в ушах все еще ревет мотор, в глазах мелькают яркие картины земли, тело все еще пронизано вибрациями машины. Потом он входит в контору, медленно садится к столу, отодвигает локтем чернильницу, какие-то книги и берет бортовой журнал самолета 612. «Тулуза – Аликанте: продолжительность полета – 5.15».

Он останавливается; его одолевают усталость и сон. До него доносится какой-то невнятный шум. Словно где-то судачат кумушки. Входит водитель «форда»,

просит извинить, улыбается. Бернис удивленно рассматривает эти стены, эту дверь, этого шофера в натуральную величину. На десять минут он втянут в какой-то спор, которого не понимает, который не то начинается, не то заканчивается. Все это похоже на мираж. Но дерево у входа все-таки насчитывает тридцать лет. Вот уже тридцать лет, как оно свидетельствует о реальности этой картины.

«Мотор в порядке».

«Самолет кренит вправо».

Он кладет перо и думает: «Я хочу только спать». Дремота стягивает ему виски, его одолевает сон.

Светлый пейзаж под ярким янтарным солнцем. Аккуратно разделанные поля и луга. Направо – деревенька, налево – крошечное стадо, и надо всем – голубой свод неба. «Дом», – думает Бернис. Он вспоминает, с какой ясностью он внезапно почувствовал: этот пейзаж, это небо, эта земля построены, как дом. Родной, хорошо прибранный дом. Каждая вещь в правильном вертикальном положении. Никакой угрозы, ни единой трещинки в этой цельной картине: словно сам он слит с этим пейзажем.

Так старым дамам, сидящим у окна своей гостиной, кажется, что они бессмертны. Свежая зеленая лужайка, садовник неторопливо поливает цветы. Они водят глазами за его спиной, внушающей им такую уверенность. Натертый паркет пахнет воском, и этот запах восхищает их. Как хорошо, когда в доме порядок: прошел день со своими ливнями, ветром и солнцем, и после всего этого разве что осыпалось несколько роз.

– Пора. Прощайте.

И Бернис вылетает.

Бернис входит в бурю. Она бьет по самолету, словно кирка каменотеса, – ему не впервой, он пройдет. В голове Берниса только самые элементарные мысли, мысли, управляющие действиями: выйти из кольца гор, куда его засасывает торнадо, где стена налетающего порывами дождя до того непроницаема, что вокруг не видно ни зги. Прорваться через эту завесу, пробиться к морю!

Толчок! Авария? Самолет внезапно накренился влево. Бернис удерживает его сперва одной рукой, потом обеими руками, потом всем телом. О, черт! Машина всей тяжестью устремляется к земле. Все пропало! Еще мгновение, и из этого опрокинутого дома, который он едва успел обжить, он будет выброшен навсегда. Равнины, леса, деревни взовьются к нему по спирали. И весь видимый мир растворится в дыму, улетучится вихрями дыма. Дым! Детская игрушка, развеянная по ветру…

– Ну и натерпелся же я страху!

Бернис ногой ударяет по тросу педали: что? Заклинилась? Отказала? Нет. Все снова в порядке. Движение ноги восстанавливает мировое равновесие. Ну и приключение!

Приключение? От этой секунды ничего не осталось, кроме какого-то привкуса во рту, кисловатого привкуса мяса. Но он успел взглянуть в лицо смерти. И все стало обманчивой иллюзией: дороги, каналы, дома – игрушки взрослых людей!..

Обошлось. Кончено. Здесь ясное небо. Как и предсказывала метеосводка. «Небо на одну четверть затянуто перистыми облаками». Метеосводка? Изобары? «Облачные системы» профессора Бьеркнеса? Да это же небо народного гулянья: ну, конечно. Небо 14-го июля. Лучше бы просто сказать: «В Малаге праздник». Каждому жителю отпущено по десять тысяч метров чистого неба над головой. Неба, возносящегося вплоть до перистых облаков. Никогда еще этот аквариум не был таким прозрачным, таким огромным. Как в заливе, в вечер регаты: синее небо, синее море, синие утесы и синие глаза капитана. Лучезарный праздник!

Готово. Тридцать тысяч писем спасены.

Авиационная компания наставляла: почта – драгоценность, почта – дороже жизни. Еще бы! Ею живы тридцать тысяч любовников… Потерпите, любовники! Письма летят к вам в вечерних огнях. За спиной Берниса плотные облака, сбитые циклоном в густое месиво. А впереди нарядная солнечная земля, яркий ситец полей, ворсистая шерсть лесов, морщинистая парусина моря.

Над Гибралтаром будет ночь. И тогда левый разворот в сторону Танжера оторвет Берниса от Европы, – огромного ледяного затора, сносимого течением…

Еще несколько городов, выросших на бурой земле, и потом – Африка. Опять несколько городов из черного теста, и – Сахара. Сегодня Бернис будет присутствовать при вечернем туалете земли.

Бернис устал. Два месяца тому назад он летел в Париж на завоевание Женевьевы. Вчера он вернулся на работу, осмыслив свое поражение. Эти равнины, эти города, эти уплывающие вдаль огни ему уже не принадлежат. Он сбрасывает их с себя. Через час покажется свет танжерского маяка – и до самого танжерского маяка Бернис будет вспоминать.

Часть вторая

I

Я должен вернуться назад и рассказать о двух прошедших месяцах, иначе что же останется? Когда слабое волнение, поднятое событиями, о которых я поведаю, уляжется; когда расходящиеся, как на озерной глади, круги сомкнутся над героями этих событий, которых они просто вычеркнули; когда притупится сначала острая, потом менее острая и наконец слабая боль, – мир снова покажется мне прочным. Может быть, я уже решусь побывать в местах, которые связаны с такими жестокими воспоминаниями о Женевьеве и Бернисе и которые теперь уже не вызовут во мне ничего, кроме легкого сожаления.

Два месяца тому назад он летел в Париж, но после такого долгого отсутствия уже не находишь своего места: словно ты загромождаешь собой весь город. Он был теперь всего лишь Жаком Бернисом, одетым в пропахший нафталином пиджак. Его тело казалось ему неуклюжим, неповоротливым, а багаж, аккуратно составленный в уголок, подчеркивал всю ненадежность и недолговечность его пристанища: эта комната еще не была обжита, она не была завоевана белым бельем, книгами.

– Алло… Это ты?

Он ведет перекличку друзьям. Возгласы, поздравления.

– А, выходец с того света! Браво!

– Ну что? Когда увидимся?

Как нарочно, сегодня друг его занят. Завтра? Завтра гольф. Не хочет ли он присоединиться? Нет! Ну тогда послезавтра. Увидимся за обедом. Ровно в восемь.

Тяжелой походкой он входит в дансинг, пробирается среди «жиголо», пальто сковывает его, как скафандр. Они проводят ночь в этих стенах, как пескари в аквариуме, они сочиняют мадригалы, танцуют, то и дело подходят к стойке выпить. В этой зыбкой среде, где он один не потерял рассудка, Бернис чувствует себя крепко стоящим на ногах грузчиком-атлетом. Его мысли не встречают отклика. Он протискивается между столиками к свободному месту. Глаза женщин, на которых задерживается его взгляд, опускаются, словно гаснут. Молодые люди ловко отстраняются, уступая ему дорогу. Так ночью по мере приближения дежурного офицера из рук часовых падают сигареты.

Мы каждый раз снова обретали этот мир, как бретонские моряки обретают свою деревушку с почтовой открытки и свою слишком верную невесту, почти не постаревшую за время их отсутствия. Та же картинка из детской книжки. И когда мы находили все на прежнем месте, в таком слепом повиновении судьбе, нам почему-то становилось страшно. Справившись о друге, Бернис слышал:

– Ну что сказать? Он все такой же. Дела его идут помаленьку. Сам понимаешь… Жизнь…

Все были в плену у самих себя, послушные им самим неведомой узде; не то что он – беглец, бездомный мальчишка, волшебник.

Лица его друзей, пожалуй, чуть-чуть осунулись, чуть-чуть постарели за две зимы, за два лета. Вон женщина в уголке бара: Бернис ее узнает. На лице ее едва заметная усталость от стольких притворных улыбок. И бармен тот же. А Бернису стало бы страшно, если бы кто-нибудь, окликнув его, воскресил в нем

того прежнего, уже умершего Берниса, Берниса без крыльев, Берниса до побега.

С начала отпуска вокруг него мало-помалу строился пейзаж, подобно стенам тюрьмы. Пески Сахары, скалы Испании постепенно отходили, как бутафория, сквозь которую начинал проступать реальный мир. Как только он перелетел границу, Перпиньян разостлал перед ним свою равнину. Равнину, которую еще освещало солнце: оно лежало косыми вытянутыми лучами, с каждой минутой меркнущими, как сквозной парчовый покров, раскинутый то там, то сям по траве, становящийся все более тонким, все более прозрачным, и, наконец, эти лучи даже не гасли, а улетучивались. И тогда равнину затягивал зеленый ил, темный и мягкий под синим небом. Как спокойное морское дно. И вот, приглушая мотор, Бернис погружался на это морское дно, где все недвижно, где все обретает реальность и долговечность стены.

А потом переезд в автобусе из аэропорта на вокзал. Сидящие против него люди с замкнутыми суровыми лицами. С положенными плашмя на коленях заскорузлыми руками, в которых запечатлелась вся жизнь этих людей. Он сидел рядом с крестьянами, возвращавшимися с поля. А вон девушка в дверях, поджидающая какого-то мужчину: одного из сотен тысяч; она уже похоронила сотни тысяч надежд. А там мать, баюкающая младенца, уже отдавшаяся ему в неволю; у нее отрезаны все пути к бегству.

Вернувшись на родину самой потаенной тропой, заложив руки в карманы, без чемоданов, простым пилотом почтовой линии, Бернис сразу же оказывался в самом сердце вещей. В самом незыблемом мире; чтобы перенести здесь какую-нибудь стену или прирезать кусок земли, потребовалось бы двадцать лет судебной волокиты.

И это после двухлетнего пребывания в Африке, после всех ландшафтов, вечно меняющихся и подвижных, как морская зыбь; но за ними постепенно проступал тот древний ландшафт, единственный, вечный, тот, из которого он однажды возник и в котором он – скорбный архангел – обретал истинную родину.

– А тут все по-старому…

Он боялся, что найдет все изменившимся до неузнаваемости, а теперь страдал оттого, что все осталось прежним. Ни от встреч, ни от друзей он уже не ждал ничего, кроме безотчетной скуки. В разлуке воображение разыгрывается. При

расставании отрываешься от привязанностей с болью в сердце и вместе с тем с непонятным чувством, будто оставляешь за собой клад, сокровище, припрятанное впрок. Эти расставания изобличали порой такую неутоленную жажду любви! А потом, звездной ночью в Сахаре, как он мечтал об этой далекой ласке, все еще теплящейся под покровом ночи и времени, словно зерно; ему иной раз казалось, что он только чуть отошел в сторонку, чтобы посмотреть на свое спящее сокровище. Опершись на разбитый самолет, перед волнистой грядой дюн, перед этим убегающим горизонтом он стерег свою любовь, как пастух…

– И вот что я нахожу!

Однажды Бернис написал мне:

«… Не стану рассказывать тебе о моем возвращении: я в своем мире, когда мне откликаются чувством на чувство. Но никто не откликнулся. Я был похож на того паломника, который добрел до стен Иерусалима с опозданием на одну минуту. Его порыв и вера угасли – и он уперся в немую стену. Этот город вокруг как стена. Мне хочется снова уехать. Помнишь наш первый вылет? Мы летели вместе, Мурсия, Гренада выглядели безделушками в витринах, и, так как мы там не останавливались, они безвозвратно уходили в прошлое. Памятники минувших веков. Живым был только несмолкаемый гул мотора, и под этот гул безмолвно, как фильм, развертывался пейзаж. И еще холод – мы летели на большой высоте; города казались скованными льдом. Помнишь?

Я сохранил твои записочки, которые ты мне передавал:

«Следи за этим странным дребезжаньем… Если оно усилится, не углубляйся в ущелье».

Через два часа, над Гибралтаром: «Доберись до Тарифы: там легче пересекать».

В Танжере: «Не планируй слишком полого: аэродром скользкий».

Как просто. Но с такими советами завоевываешь мир. Я постигал стратегию, всесильную благодаря этим кратким приказам. Танжер, маленький, ничем не

замечательный городишко, был моей первой победой. Ты понимаешь, это был мой первый трофей. Ну да. Я прицеливался к нему, сначала издалека. Потом, по мере снижения, подо мной распускались поля, цветы, дома. Я пробуждал к жизни и откапывал город. И вдруг чудесное открытие: в пятистах метрах подо мной пашущий землю араб, которого я постепенно притягивал к себе, из которого делал человека своего масштаба, который и впрямь становился моей военной добычей, моим созданием, моей игрушкой. Я брал в плен заложника, и отныне Африка принадлежала мне.

Через две минуты, стоя в траве, я был юным, словно спустился на какую-то звезду, где заново начиналась жизнь. И в этом новом климате, на этой почве, под этим небом я чувствовал себя молодым деревцем. Я потягивался с дороги, одолеваемый чудесным голодом. И шагал широкими пружинящими шагами, чтобы размяться после полета, и радовался, что соединился с собственной тенью, – вот что такое приземление.

А весна! Помнишь ли ту весну после моросящих дождей в Тулузе? Этот совсем новый воздух, омывающий все вещи. И в каждой женщине своя тайна: свой акцент, свой жест, свое молчание. И каждая манила и влекла. А потом, – ты же знаешь меня, – я снова был охвачен горячкой отъезда, меня снова тянуло в поиски чего-то, что я предчувствовал, но не понимал, потому что я был тем искателем подземного родника, который, бредя с подрагивающей тростинкой в руке, разыскивает по свету свое сокровище.

Так скажи мне, чего я ищу, почему, сидя у окна и глядя на город моих друзей, моих стремлений, моих воспоминаний, я тоскую? Почему впервые в жизни я не нахожу родника и мое сокровище кажется мне таким недостижимым? Что это за непонятное обетование, которое мне было дано и которое не исполняет неведомый бог?

Я снова обрел родник. Помнишь? Это Женевьева…»

Женевьева, читая эти слова Берниса, я закрыл глаза и увидел вас девчонкой. Вам было пятнадцать лет, а нам – по тринадцати. Разве вы могли состариться в наших воспоминаниях? Вы так и остались для нас хрупким ребенком, и именно такой вы нам представлялись, когда нам рассказывали о вас, когда мы, пораженные, сталкивались с вами в жизни.

В то время как другие подводили к алтарю уже взрослую женщину, мы – Бернис и я – из глубин Африки обручались с маленькой девочкой. Пятнадцатилетней девчонкой, вы были самой молодой из матерей. В возрасте, когда еще обдирают о ветки голые икры, вы требовали королевской игрушки – настоящей колыбели. В то время как в кругу близких, не догадывавшихся о чуде, вы были простой женщиной, для нас вы воскрешали волшебную сказку и проникали в мир через заколдованную дверцу – как на маскарад, как на детский бал – переодетая женой, матерью, феей…

Потому что вы были феей. Я вспоминаю. Вы жили за толстыми стенами старого дома. Вы сидели, облокотившись, у окна, пробитого, как бойница, в стене: вы подкарауливали луну. И луна вставала. Равнина начинала звучать, гремя, как трещотками, крыльями цикад и бубенчиками – в зобу лягушек, и колокольчиками – на шее возвращавшихся в стойла волов. Луна вставала. Иногда из деревни доносился погребальный звон, извещавший сверчков, поля и цикад о чьей-то непостижимой смерти. И вы высовывались из окна, беспокоясь только за обрученных, потому что на свете нет ничего более хрупкого, чем надежда. А луна поднималась. И тогда, заглушая погребальный звон, кричали совы, призывая друг друга к любви. Бездомные собаки, усевшись в круг, выли на луну. И каждое дерево, каждая былинка, каждый розовый куст были живыми. И луна поднималась. Тогда вы брали нас за руки и заставляли слушать голоса земли; они успокаивали, и это было хорошо.

Этот дом, весь этот живой покров земли вокруг него служили вам такой надежной защитой. У вас было заключено столько пактов с липами, дубами, с животными, что мы звали вас их принцессой. К вечеру, когда мир отходил ко сну, ваше лицо постепенно успокаивалось.

«Фермер загнал в хлев свое стадо». Вы догадывались об этом по дальним огонькам в стойлах. Слышался глухой шум: «Запирают шлюзы». Все было в порядке. Наконец семичасовой скорый проносился грозой, прорезая округу, и исчезал, окончательно очищая ваш мир от всего беспокойного, неверного и неустойчивого, – как чужое лицо в окне спального вагона. Потом был ужин в просторной и слабо освещенной столовой, где ты становилась королевой ночи, – мы следили за тобой без устали, как шпионы. Ты молча усаживалась между стариками, на фоне деревянных панелей, чуть наклонившись вперед, подставляя под золотой сноп абажура только волосы, и в короне из света ты царила. Ты нам казалась бессмертной, так прочно ты была слита с вещами, так уверена в них, в своих думах, в своем будущем. Ты царила…

Но нам хотелось знать, можно ли причинить тебе страдание, нам хотелось стиснуть тебя в объятиях так крепко, чтобы ты задохнулась, потому что мы чувствовали в тебе душу, которую мы старались выманить наружу; чтобы твои глаза наполнились лаской или печалью. И Бернис обнимал тебя, и ты краснела. Бернис сжимал тебя крепче, и глаза твои становились блестящими от слез, но губы не искажала уродливая гримаса, как у плачущих старух. Бернис говорил, что эти слезы – от внезапно переполнившегося сердца, что они драгоценнее алмазов и что тот, кто выпьет их, станет бессмертным. Он говорил мне еще, что ты живешь в своем теле, как фея под водой, и что ему известны тысячи колдовских способов, которыми он может выманить тебя на поверхность, и самый верный из них – заставить тебя плакать. Так мы крали у тебя любовь. Но когда мы тебя отпускали, ты смеялась, и этот смех приводил нас в смущение. Так выпархивает пойманная птица, стоит только чуть приоткрыть руки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/sent-ekzyuperi_antuan/yuzhnyy-pochtovyy

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити